

донкихотствующей и, может быть, это чтение воспламенит в нем желание совершить какую-нибудь великодушную глупость”.

„Глупость“—это сказано, конечно, иронически: автор надеялся на то, что его рассказ о своей судьбе вызовет в читателе 1922 г. благородное побуждение к участию в общественной борьбе за великое дело. И в этом автор не ошибся. Читатель 1932 г. с интересом прочтет эту повесть о человеке, заблудившемся в своих поисках путей борьбы с ложью капиталистической цивилизации, но бодро рассказавшего на старости лет о своих исканиях и разочарованиях.

Владимир Сергеевич Печерин родился в 1807 г., в семье офицера-крепостника, кочевавшего со своим полком по юго-западной России. В юности он испытал, хотя и в смутной форме, влияние тех идей, которыми вдохновлялись декабристы. В 1831 г. он блестяще кончил петербургский университет, а в 1833 г. был отправлен, вместе с рядом других молодых ученых, за границу для подготовки к профессорской деятельности. Проникнутый идеями шиллеровой поэзии и французской революции 1830 г., Печерин попал в Берлин Гегеля, в университетские аудитории, в которых формировалась революционная мысль германской интеллигенции: вскоре после того, как их покинул Печерин, в них вступил К. Маркс. О том, какие идейные веяния всего сильнее сказались в эту эпоху на Печерине, ясно показывает одно из его писем 1834 года. Он описывает в нем заключительную лекцию берлинского профессора гегельянца Ганса.

„Красноречивый профессор, доведши историю до последней минуты настоящего времени — писал Печерин — в заключение приподнял перед своими слушателями завесу будущего и в учении сен-симонистов и возмущениях работников (coalitions des ouvriers) показал зародыш предстоящего преобразования общества. „Понятие чернь исчезнет. Низшие классы общества сравняются с высшими, так же, как сравнялось с ними последними среднее сословие. История перестанет быть для низшего класса каким-то недоступным, ложным призраком—нет! история обмыет равно все классы; все классы сделаются действующими лицами истории, и тогда история сольется в одну светлую точку, из которой начнется новое, совершеннейшее развитие“... У меня невольно выступили слезы на глазах; все огромное собрание сидело в торжественном молчании, как бы продаясь с прошедшим и с трепетом слыша гигантские шаги близкого будущего, которое как-будто стучалось в двери этого огромного и древнего зала“.

Современный читатель отметит в этой страстной тираде не только отголосок общих смутно-социалистических идей, но и указание на „возмущение работников“, как на „зародыш предстоящего преобразования общества“. С большей силой и подъемом выразил Печерин революционное отрицание старого мира и в написанной в то же время стихотворной поэме „Торжество смерти“. Лишенная какой-либо определенной историко-философской основы, поэма представляет собой красноречивый гимн в честь насильственного и беспощадного разрушения мира рабства и лжи. Аллегорическая поэма кон-

чается апофеозом смерти, — „богу свободы, богу движения, вечного преображения“ —

Ветхое, ничтожное,
Слабое и ложное
Пред тобой падет!
Вольное, младое,
Творчески-живое
Смертью расцветет!

—и восклицанием:

„Vive la mort! vive la mort! vive la mort!“

(„Да здравствует смерть!“).

Поэма Печерина, пересланная им в Россию, пользовалась в свое время широким распространением (разумеется, в качестве литературы подпольной) и производила большое впечатление. Когда уже в 1870 г. Достоевскому, в его направленном против революционеров романе „Бесы“, понадобился образчик „бессмысленных мечтаний“ революционной интеллигенции, он вспомнил именно о поэме Печерина и пародировал ее в целях осмеяния социальных и богоборческих тенденций революционеров 40-х годов.

Естественно, что при этих настроениях у Печерина должен был возникнуть вопрос о возвращении {в Россию. В цитированном выше письме он писал:

„Вопрос один: быть или не быть? Как! жить в такой стране, где все твои силы душевные будут навеки скованы—что я говорю, скованы!—нет: безжалостно задушены—жить в такой земле не есть ли самоубийство? Мое отечество там, где живет моя вера!“.

Насколько мне известно, мысль о добровольной эмиграции из царской России была выражена в этих словах 1834 г. впервые так ясно и определенно. Через несколько месяцев Печерин писал своим друзьям в Россию:

„Я надеюсь, что бог, в бесконечном милосердии своем, не даст мне скоро увидеть бесплодных полей моей безнадежной родины“.

Тогда же из-под пера Печерина вышли такие строки:

Как сладостно—отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную денницу возрожденья!
(Я этим набожных господ обидеть
Не думал: всяк свое имеет мнение.
Любить?—любить умеет всякий нищий,
А ненависть—сердец могучих пища!)

В середине 1835 г. Печерин вернулся в Россию с определенной мыслью—бежать из нее при первой возможности. Встретившийся с ним в Петербурге, его старый университетский товарищ записал тогда в своем дневнике о группе возвратившихся молодых профессоров:

„Они отвыкли от России и тяготеют мыслью, что должны навсегда прозябать в этом царстве крепостного рабства. Особенно мрачен Печерин“.

В июне 1836 г. Печерин бежал из России—с тем, чтобы больше в нее уже не возвращаться. Это был год появления „Ревизора“ и „Философического письма“ Чаадаева. Герцен и Огарев были уже в ссылке.

Причин своего бегства Печерин неоднократно касается в печатаемых записках. В концентрированном виде он изложил их в письме к другу, которое необходимо прочесть раньше, чем приступить к последним. Вот оно:

„Ты хорошо понимаешь, что не слепой случай, а определенная политическая цель привела меня в Лугано. Какая же цель? Для этого надобно возвратиться назад, к концу 1833 года.

До тех пор у меня не было никаких политических убеждений, да и никаких убеждений вообще. Был у меня какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь немножко и потом, со временем, попасть в будущую палату депутатов конституционной России.—далее мысли мои не шли. В конце 1833 года вышла в свет брошюрка Ламеннэ „Paroles d'un croyant“, наделавшая тогда много шуму. Это было просто произведение сумасшедшего, но для меня она была откровением нового евангелия. „Вот“, думал я, „вот она, та новая вера, которой суждено обновить дряхлую Европу! Эти великодушные республиканцы, которых теперь влекут перед судилища новых Иродов и Пилатов, это те же святые мученики и апостолы первобытной церкви. Присоединиться к их доблестному сонму, разделять их труды и опасности и пожертвовать жизнью святому делу,—вот благородная, возвышенная цель“. Политика стала для меня религиею и вот ее формула: „Аллах у Аллаха! у Махомед росул Аллах!“ Понимаешь? Это значит: Республика есть республика и Маццини ее пророк!

Первое мое путешествие в Швейцарию и Италию (1833) было чисто русское, то-есть без всякой разумной цели, так просто посмотреть да погулять... На следующий год я путешествовал один и уже с определенной целью сблизиться с республиканцами. Из этого тогда ничего не вышло, но намерение все же таки было. Я возвращался в Россию (1835), как агнец, влекомый на заклание, с ужасною тоскою, с глубоким отчаянием, но вместе с тем с искреннею решимостью убежать при первом благоприятном случае. Я жил в Москве ужасным скрягою, часто отказывал себе в обеде и питался черным хлебом и оливками, для того чтоб накопить несколько денег.

Ты думаешь, что я оставил Россию так просто, очертя голову, без всякого плана? Ты ошибаешься. Все было обдуманно, взвешено и рассчитано до последней копейки...

По трем причинам мне невозможно было оставаться в России:

1-ая. Религия. Идти говеть по указу и причащаться св. таин без веры и с кощунством? До этого я не мог унизиться: мне это казалось первой подлостью и началом всех прочих подлостей. На первый год оно сошло бы с рук; но впоследствии мое отсутствие было бы замечено, и я был бы принужден подчиниться этому обряду.

2-ая. Профессорство. Профессорство в России невозможно, и я, правду сказать, никакого к нему призвания не имел. Может быть, в Петербурге я мог бы ужиться как-нибудь; но разгульная Москва с ее вечными обедами, пирушками, вечеринками и беспрестанною болтовнею, вовсе не шла к тому строгому и ругатному настроению, с каким я возвращался из-за границы. Одна московская дама, с обыкновенною женскою пронизательностью, заметила обо мне: *Il a le mal du pays*, что тогда значило: „у него тоска по заграничье“.

3-я. Литература. В письме из России, один весьма почтенный господин писал ко мне: „*Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour vous rendre à la carrière des belles lettres, à la quelle vous pouvez être utile*“.¹

¹ „Я сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить вам карьеру литератора, в которой Вы можете быть полезны“.

В этом то я и сомневался. Я беспристрастно аршином измерял свой талант до последнего вершка. Я очень хорошо понимал, что в тогдашней России, где невозможно было ни говорить, ни писать, ни мыслить, где даже высшего разряда умы чахли и неминуемо гибли под нестерпимым гнетом,— в тогдашней России, с моей долей способностей, я далеко бы не ушел. Я скоро бы исписался и сделался бы мелким пошленьким писателем со всеми его низкими слабостями,—а на это я никак согласиться не мог. По мне: aut Caesar, aut nihil, или пан, или пропал.

Но если пойти глубже, то может быть найдется другая основная причина, то-есть неодолимая страсть к кочевой бродяжнической жизни.

Как сын пустыни, я терпеть не мог оседлости. Усесться на профессорской кафедре, завестись хозяйством, жениться, быть Коллежским Советником и носить Анну на шее,—все это казалось мне в высшей степени комическим. Как Ленский в Онегине, я тоже

Носил бы стеганный халат,
и пр. и пр. и пр.

Но от этого именно позора я бежал за тридевять земель, в тридесятое царство. Да и как еще бежал! Словно погоня была за мною; некогда было духу перевести. Я в первый раз свободно вздохнул, когда дилижанс высадил меня на площадь в Базеле 23 июня 1836 г.“.

Попечитель Московского университета, разыгрывавший из себя покровителя молодых талантливых профессоров, граф С. Г. Строганов, пытался убедить Печерина вернуться в Россию и выслал ему деньги на обратный путь. (Об этих деньгах в своих записках и упоминает Печерин). Печерин отвечал ему:

„Вы призвали меня в Москву... Когда я увидел эту грубоживотную жизнь, эти униженные существа, этих людей без верований, без бога, живущия лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться, как животные... когда я увидел все это, я погиб! Я видел себя обреченным на то, чтобы провести с этими людьми всю мою жизнь; я говорил себе: кто знает? Быть может, время, привычка приведут тебя к тому же результату, ты будешь вынужден спуститься к уровню этих людей, которых ты теперь презираешь; ты будешь валяться в грязи их общества, и ты станешь, как они, благонамеренным старым профессором, насыщенным деньгами, крестиками и всякою мерзостью! Тогда моим сердцем овладело глубокое отчаяние, неизлечимая тоска... Я замкнулся в одиночестве моей души, я избрал себе подругу столь же мрачную, столь же суровую, как я сам.—Этой подругой была ненависть! Да, я покаялся в ненависти вечной, непримиримой ко всему меня окружавшему!..“.

Печерин бежал из России с определенной целью прикнуться к европейскому революционному движению. В Лугано—первой цели Печерина за границей,—влекло его то, что это был центр итальянских эмигрантов—мадзинистов. В Брюссель—ибо там жил глава демократической польской эмиграции, Иоахим Лелевель. Он внимательно изучает Сен-Симона и относится, как к святыне, к книге, сыгравшей крупнейшую роль в развитии революционного и рабочего движения 30-х и начала 40-х гг.—к „Заговору равных“ Филиппа Буонаротти, товарища Бабефа. Он переводит знаменитую книгу Штрауса „Жизнь Иисуса“ и увлекается социалистическими романами Жорж Санд.

„Я пришел в Льеж—пишет Печерин—с запасом учения Бернацкого, потом приобрел коммунизм Бабефа, религию

Сен-Симона, систему Фурье". В Швейцарии, вместе с итальянскими и польскими эмигрантами, он обдумывает план издания газеты и—по примеру всех утопистов того времени—мечтает об образовании коммунистической общины в Америке.

К сожалению, и эта часть записок Печерина написана в общем, усвоенном им для своих записок ироническом тоне. Надо принять также во внимание, что эта часть записок писалась еще тогда, когда автор надеялся на появление их в русской печати, в связи с чем он, повидимому, сознательно сжимал свой рассказ о сношениях с европейскими революционерами и особенно нажимал на их теневые стороны. Но и этот скупой на детали, сатирически-стилизованный и односторонний рассказ очень любопытен картинками из жизни международной революционной среды середины 30-х гг. Печерин был первым русским, попавшим в эту среду, и на русском языке, кроме его рассказа, нет других следов этой среды и этой эпохи.

Жил он в Швейцарии, в Париже, в Бельгии, добывал средства к существованию случайными грошевыми уроками и сильно бедствовал. Его русские друзья, следившие за его судьбой, писали впоследствии, что Печерин, оказавшись за границей, „увлекся крайними теориями европейских революционеров". Но на этом пути Печерин не нашел разрешения мучивших его вопросов. Социальная фантастика привела его в тупик. Он был не единственным из социальных утопистов и революционеров 30-х гг., которые, не найдя подлинного революционного пути, запутавшись в социальных противоречиях своей эпохи, пришли к разочарованию в возможности немедленной реальной борьбы за социалистическое преобразование мира и с отчаяния бросились в религию, в частности, в католицизм. Это был путь многих бывших рационалистов, сен-симонистов, польских эмигрантов. В середине 1840 г. перешел в католичество и ушел в монастырь и Печерин.

„Бедность, безучастие, одиночество сломили его"—писал по поводу этого неожиданного перехода Герцен. Сам Печерин посвятил выяснению причин этого перехода значительную часть своих записок. И хотя он в них пытается оспорить диагноз Герцена, но, в общем, Герцен прав.

Описывая свое состояние в этот момент, Печерин в своих записках вспоминает:

„Я был в том состоянии, когда душа жаждет забыть, отвергнуть самое себя... пожертвовать разумом и волей“...

Только много лет спустя Печерин оценил эту свою „жертву", как низведение себя до уровня „хорошо дрессированной скотины, выкидывающей разные штуки по мановению хозяина". В другом месте, в письме, опубликованном им в 1863 г. в эмигрантской прессе, Печерин сам дал гораздо более определенную и содержательную форму своего обра-

щения: „Католическая церковь... была для меня последним убежищем после всеобщего крушения европейских надежд в 1848 г.“. Тут есть некоторое хронологическое несоответствие, но характерно, что сам Печерин сознательно связывал свое „падение в иезуитский монастырь“ с крушением революционных надежд.

Впрочем, в 1840 г. он мечтал еще о другом, не об „убежище“, а о временной пристани, где можно было бы подготовиться к грядущей буре, чтобы выйти ей навстречу в полном вооружении. Так, по крайней мере, пытается объяснить свое „падение“ Печерин в записках, ссылаясь на то, что его уход в монастырь был подготовлен религиозными элементами в учениях утопического социализма 40-х гг. Печерин указывает при этом на Жорж Санд, Пьера Леру, Мишлэ. И он прав—мистический элемент был очень силен в проповеди тогдашних социальных реформаторов. Человек того же поколения, что и Печерин, прошедший через те же идейные влияния, Герцен еще в 1848 г. писал:

„Французы несколько не освободились от религии: читайте Ж. Санд и Пьера Леру, Луи Блана и Мишлэ, вы всюду встретите христианство и романтизм, переложенный на наши нравы; везде дуализм, абстракция, отвлеченный долг, обязательные добродетели, официальная, риторическая нравственность без соотношения к практической жизни“.

Вот эти элементы тогдашней социалистической проповеди—отражение практического бессилия мелкой буржуазии при столкновении двух основных классов современного общества—и оказались больше всего родственными Печерину, выходцу из крепостнической России, слишком раннему предвестнику слишком медленной весны, которому еще трудней было найти реальную опору своих реформаторских мечтаний, чем мечтательно-сентиментальному социализму Ж. Санд и Пьера Леру.

Жизнь Печерина была раз и навсегда сломана этим фальшивым шагом. Наступившее впоследствии разочарование его в избранном им пути было глубоко, о папстве и монахах он не писал впоследствии иначе, как с ненавистью, но еще раз переломить свою судьбу у него не хватило сил. Он отомстил себе и соблазнившему его фетишу иначе: в своих записках и письмах он дал такую уничтожающую характеристику и самого своего шага и той „смрадной могилы“, в которую он попал, что она не утратила своей остроты и до сих пор.

Под влиянием общего оживления общественной жизни в России, а также своего свидания с Герценом и публицистической деятельности последнего за границей, Печерин в 1860 г. вновь взбунтовался и бросил свой монастырь.

„Я проспал 20 лучших лет моей жизни (1840—1860),—писал Печерин через несколько лет.—Да что же тут удивительного! Ведь

это не редкая вещь на святой Руси. Сколько у нас найдется людей, которые или проспали всю жизнь, или проиграли ее в карты. Я и то и другое сделал: и проспал, и проигрался в пух^а.

Трудно было резче осудить самого себя. В другом письме той же эпохи он писал:

„Грустно думать, что двадцать лучших лет моей жизни совершенно погибли для умственного развития. Это было своего рода самоубийство“.

Он догадался наконец, что „из шпионствующей России попасть в римский монастырь, это просто—из огня да в полымя“. О христианстве он пишет теперь так:

„Вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах,—и теперь издыхает от старческого изнеможения“.

„В монахе—продолжает он—человек падает ниже скота“.

Он свидетельствует о сексуальных элементах в культе Иисуса, о том, как его собственная религия стала орудием оскотинения человека, угнетения масс, обогащения „князей церкви“.

„Я вовсе не годился быть священником, а всего менее монахом, потому что у меня не было дара просить денег“.

—пишет и подчеркивает он. И, как бы для иллюстрации этих вынесенных из двадцатилетнего опыта положений, Печерин, бросивший монастырь, но не скинувший рясы католического священника, наполняет свои записки такой издевкой над „служителями церкви“, такими сценками из их жизни, дает в них такую выпуклую галерею монахов, священников и кардиналов, что они просятся в антирелигиозные хрестоматии. Не надо при этом забывать, что все это писалось шестидесятилетним стариком, двадцать лет прожившим в монастыре и в свое время славившимся красноречием своих проповедей и строгим выполнением монастырских уставов. Вот почему следует сказать, что обстоятельная монография, посвященная Печерину М. О. Гершензоном („Жизнь Печерина“. М. Гершензон. М. 1910), далеко не вполне отражает подлинный образ автора „Замогильных записок“. Тонкий и изящный психолог-исследователь, но сам мистик и индивидуалист, М. О. Гершензон „подсластил“ Печерина, придал ему слишком „благолепный“ лик. Правда, когда Гершензон писал свою книгу, он не знал еще „Записок“ и, повидимому, не предполагал в их авторе того запаса ненависти к монастырю и церкви, которые накопил последний в результате своего опыта. Под рясой монаха Гершензон не заметил старого вольтерьянца с его подлинной ненавистью к папскому Риму, с готовым запасом скабрёзных анекдотов о монахах и монастырской жизни, но, конечно, и с присущей подлинному вольтерьянцу ограниченностью понимания смысла и происхождения религиозных явлений.

Как сказано уже, в 1861 г. Печерин бросает свой монашеский орден, возобновляет переписку с Герценом и Огаревым, вновь начинает заниматься поэзией, регулярно посылает пожертвования в „Колокол“, изучает естественные науки, внимательно читает Фейербаха и Бюхнера, следит за эмигрантской журналистикой. В 1863 г. в эмигрантской прессе он публикует письмо, в котором пишет:

„Я никогда не был и не буду верноподданным. Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше (письмо написано в разгар польского восстания. Л. К.): если бы я был на их месте, я бы действовал, как они действуют. Те, которые знали меня в Берлине, увидят теперь, что я не изменил первым убеждениям моей юности... Г. Погодин очень наивно запрещает мне въезд в Россию. Он совершенно прав: с его точки зрения, от меня ничего путного ожидать нельзя! Если, вследствие какого-нибудь великого переворота, врата отечества отвернутся передо мною—я заблаговременно объявляю, что присоединяюсь не к старой России, а к молодой, и теперь с пламенным участием простираю руку братства к молодому поколению, к любезному русскому юношеству, и хотел бы обнять их во имя будущего“.

Так один из первых русских эмигрантов, ученик социалистов-утопистов, загнанный судьбой на двадцать лет в католический монастырь, пытался шестидесятилетним стариком протянуть руку молодому поколению революционеров. Это ему не удалось и удаться не могло. Двадцатилетнее послушничество в католическом монастыре не могло пройти даром: оно сказалось рядом реакционных черт и наслоений и в психологии, и в идеологии автора „Замогильных записок“. Но эти черты в последних ни для кого уже сейчас не опасны и никого не способны задеть. Сама же книга остается живым художественным памятником давно ушедшей в прошлое, но интересной эпохи, талантливым свидетельством о ней человека оригинальной судьбы и неизменной бодрости духа.

Невольное изумление вызывает в устах этого представителя давно отжившего поколения его оценка Парижской Коммуны 1871 г. Печерину было в этот момент 65 лет. Он жил в глубоком одиночестве при одной из больниц в Ирландии, в стороне от больших исторических дорог, в стороне от всякой политической деятельности.

Но вот что написал он о парижских коммунарах в момент, когда весь буржуазный мир извивался в судорогах бешеной к ним ненависти, обливал их ядовитой слюной злобой и клеветы.

„Парижские коммунисты, сожгшие Тюльри и Отель де Виль, может быть, со временем попадут в великие благодетели человечества. Ведь первые христиане также сожигали великолепные языческие храмы, разбивали в куски изящные статуи, образцовые произведения искусства. Образованный древний мир содрогался от ужаса и негодования при виде этих неистовств и прозвал христиан безбожниками, а ф е я м и; но все ж таки в конце концов христиане одолели. Вот так будет и с коммунистами. Они тоже могучие

дровосеки: они прямо идут к цели. Надо же как-нибудь расчистить наш старый лес, наполненный всякою дрянью. Что сделали с Тюльери, могут сделать и с Ватиканом, и тогда уже мы навсегда отделаемся от этой старой рухляди; поляна будет окончательно расчищена. Никто теперь не упрекает Новгородцев за то, что они скатили в Волхов святой истукан Перуна: зачем же бранить коммунистов за то, что они низвергнули Вандомскую колонну?»

Эта хвала сказана не нашими словами,—но они вскрывают поразительную бодрость духа в этой „жертве русской истории“, этом старике, прошедшем сквозь „смердную могилу“ католического монастыря и священства.

В. С. Печерин умер в 1885 г., в той же ирландской больнице, где он написал сейчас цитированные строки о коммунистах. Воспоминания его не закончены. Они обрываются на 1848 г.

Из рукописных залежей Румянцевского музея письма Печерина были извлечены М. О. Гершензоном, который сделал и первые шаги для подготовки их к печати. Он написал несколько страниц предисловия, в которых характеризовал их следующими словами: „Автобиография не представляет собой сплошного повествования; это ряд эпизодов, часто не связанных между собой хронологически и от того может быть выигрывающих в художественной законченности. Сообщая эти эпизоды в письмах (своему племяннику С. Ф. Печерину и Ф. Б. Чижову), Печерин часто предварял или сопровождал свой рассказ рассуждениями и сообщениями злободневного свойства. Эти эпистолярные привески мы, по возможности, устранили из автобиографии“.

Мы последовали этому плану публикации. В рукопись Печерина мы вставили два отрывка, предварительно напечатанные в русских изданиях. Название—„Замогильные записки“—заимствовано из текста самого Печерина. Примечания принадлежат редакции настоящего издания.

Л. Каменев.
